



M. Dard

НАПУТНОЕ СЛОВО

Читано в Обществе любителей российской словесности
в Москве 21 апреля 1862 года

Во всяком научном и общественном деле, во всем, что касается всех и требует общих убеждений и усилий, порою проявляется ложь, ложное, кривое направление, которое не только временно держится, но и берет верх, пригнетая истину, а с нею и всякое свободное выражение мнений и убеждений. Дело обращается в привычку, в обычай, толпа торит бессознательно пробитую дорожку, а коноводы только покрикивают и понакают. Это длится иногда довольно долго; но, взглядываясь в направление пути и осматриваясь кругом, общество видит наконец, что его ведут вовсе не туда, куда оно надеялось попасть; начинается ропот, сперва вполголоса, потом и вслух, наконец подымается общий голос негодования, и бывшие коноводы исчезают, подавленные и уничтоженные тем же большинством, которое до сего сами держали под своим гнетом. Общее стремление берет иное направление и с жаром подвигается на новой стезе.

Кажется, будто бы такой переворот предстоит ныне нашему родному языку. Мы начинаем догадываться, что нас завели в трущобу, что надо выбраться из нее по-здоровому и проложить себе иной путь. Все, что сделано было доселе, со времен петровских, в духе искажения языка, все это, как неудачная прививка, как прищипа разнородного семени, должно усохнуть и отвалиться, дав простор дичку, коему надо вырасти на своем корню, на своих соках, сдобриться холей и уходом, а не насадкой сверху. Если и говорится, что голова хвоста не ждет, то наша голова или наши головы умчались так далеко куда-то вбок, что едва ли не оторвались от туловища; а коли худо плечам без головы, то некорыстно же и голове без туловища. Применяя это к нашему языку, сдастся, будто голове этой приходится либо оторваться вовсе и отвалиться, либо опомниться и воротиться. Говоря просто, мы уверены, что русской речи предстоит одно из двух: либо испощлеть донельзя, либо образумясь, своротить на иной путь, захватив притом с собою все покинутые второпях запасы.

Взгляните на Державина, на Карамзина, Крылова, на Жуковского, Пушкина и на некоторых нынешних даровитых писателей, не ясно ли, что они избегали чужеречий; что старались, каждый по-своему, писать чистым русским языком? А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладою он к ней прислушивался, как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания свои шумным взры-

вом одобрений и острых замечаний и сравнений, — я не раз бывал свидетелем.

Вот в каком отношении пишущий строки эти полагает, что пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный. Народный язык был доселе в небрежении; только в самое последнее время стали на него оглядываться, и то как будто из одной снисходительной любознательности*. Одни воображали, что могут сами составить язык из самоделковых слов, скованных по образцам славянским и греческим; другие, вовсе не заботясь об изучении своего языка, брали готовые слова со всех языков, где и как ни попало, да переводили дословно чужие обороты речи, бессмысленные на нашем языке, понятные только тому, кто читает нерусскою думою своею между строк, переводя читаемое мысленно на другой язык.

Знаю, что за мнение это составители словаря несдобровать. Как сместь говорить, что язык, которым пишут оскорбленные таким приговором писатели, язык нерусский? Да разве можно писать мужицкою речью Далева словаря, от которой издали несет дегтем и сивухой, или по крайности квасом, кислой овчиной и банными венниками?

Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решавшиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, и сам составитель словаря; но из этого вовсе не следует, чтобы должно было писать таким языком, какой мы себе сочинили, распахнув ворота настежь на Запад, надев фрак и заговорив на все лады, кроме своего; а из этого следует только, что у нас еще нет достаточно обработанного языка, и что он, не менее того, должен выработаться из языка народного. Другого, равного ему источника нет, а есть только еще притоки; если же мы, в чаду обаяния, сами отсечем себе этот источник, то нас постигнет засуха, и мы вынуждены будем растить и питать свой родной язык чужими соками, как делают растения тунеядные, или прищепой на чужом корню. Пусть же всяк своим умом рассудит, что из этого выйдет: мы отделимся вовсе от народа, разорвем последнюю с ним связь, мы испощлем еще более в речи своей, отстав от одного берега и не пристав к другому; мы убьем и погубим последние

нравственные силы свои в этой упорной борьбе с природой и вечно будем тянуться за чужим, потому что у нас не станет ничего своего, ни даже своей самостоятельной речи, своего родного слова.

Не трудно подобрать несколько пошлых речей или поставить слово в такой связи и положении, что оно покажется смешным или пошлым, и спросить, отряхивая белые перчатки: этому ли нам учиться у народа? Но, не гаерствуя, никак нельзя оспаривать самоистинны, что живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи взамен нынешнего языка нашего, каженика.

Откуда мы взяли *исправленный* нами язык, где родился он, в книгах или в устном говоре? Можно ли отрекаться от родины и почвы своей, от основных начал и стихий, усиливаясь перенести язык с природного корня его на чужой, чтобы исказить природу его и обратить в растение тунеядное, живущее чужими соками?

Если ныне кто вздумает писать по-русски, то либо спочину же умолкает под свистками коноводов, которых брезгливые уши к такой речи непривычны, либо сам на первых же порах осекается, не доискавшись слова. У нас нипочем путать *обознаться* и *опознаться*, *обиденный* и *обиходный* и, не чая за собой греха, высказать противное тому, что хотел... Я не выдумываю, а привожу бывалые и недавние примеры и прошу указать мне, на каком другом языке писатель, зная в таком размере язык свой, осмелится взяться за перо? В романе *Путеводитель в пустыне*, по-русски *степной вожак*, есть прозвище *Открыватель следов*, и это такой же выродок грамотейства, как самое заглавие, грамотейства, которое становится на ходули или по крайности подбочивается, взявшись за перо: английское *pathfinder* в точности переводится русским *выследчик*; но, во-первых, в словарях наших нет ни *выследчика*, ни даже глагола *выслеживать*, *выследить*; во-вторых, английское составлено из двух слов, стало быть, и нам надо, бросив свое слово или даже и не ища его, сковать новое, из двух же, а затем, указывая на уродли-

* В этом отношении за Русской Академией большая заслуга — издание Областного словаря; но он издан сырьем, как запасы были доставлены, без всякой критики. Это не труд ученого братства, а весьма важный подарок не входившего в рассмотрение рукописи издателя. [В. И. Даль имеет в виду «Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением имп. Академии наук» (СПб., 1852) и еще более объемное «Дополнение к «Опыту...»» (СПб., 1858).]

вое детище свое, попенять на неуклюжесть русского языка! Два русских профессора озаглавили книгу свою: *Обыденная жизнь*, вместо *обыкновенная*; *обыденная* значит: суточная, однодневная, откуда и церкви, срубленные по обету в один день, общею помощью, называются *обыденными* (в Москве, в Вологде); *обыденки* — сутки, день, и обыденками же зовут мух или мотыльков, живущих не больше суток, эфемеры...

Но что об этом широко толковать — эти примеры вспали мне на ум; не стоит рыться за ними и терять попусту дорогое время, а можно бы найти не сотни, а тысячи подобных. Что же выйдет из речи нашей, если мы пойдем зря и без оглядки этим путем? Не понимая ни русской речи, ни друг друга, мы станем льюдми без речей, бессловесными, или же поневоле будем объясняться по-французски. Решите, что это хорошо, и продолжайте.

Но лучше не станем оправдываться в поголовном грехе своем — у нас же пришла ныне пора покаяния, — а скажем просто и прямо, как дело есть, что пишем так, как пишется, не потому, чтобы это было хорошо, полезно и красиво, а что так, видно, было нам доселе на роду написано; в молодости негде и некогда было научиться по-русски, а возмужав, нам стало и лень, и опять-таки негде и некогда. Да, за недосугом, когда-нибудь без покаяния умрешь!

Но с языком, с человеческим словом, с речью, безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека — это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть разве одно только чувство и мычанье. Дух не может быть порочен, в малоумном та же душа — ума много, да вон нейдет; отчего? Вещественные снаряды служат ему превратно, они искажены; дух ими пригнетен, он под спудом, а без вещественных средств этих, в вещественном мире, дух ничего сделать не может, не может даже проявиться.

Какой ученый немец поверил бы лет за двести, что язык его, разве за малыми изытиями, вовсе не нуждается в латыни с немецким окончанием? А между тем дело обошлось благодаря

отрезвившимся от мороки делателям; истина устояла, а ложь погибла. Перед нами же и другой, обратный пример: у соседей наших, братьев одного корня, славянский язык слился с западными языками и образовал новый язык, обильный принятыми в себя источниками; но от этого насилия его обдало мертвизною, и он окоснел, что ярко выразилось утратою им своего слогу-ударения, которое раз и навсегда замерло на предпоследней гласной.

Не знаю, насколько мне, надседаюсь, удастся убедить в истинах этих читателя, но знаю, что они укрепились во мне с тех пор, как я начал сознательно жить; иначе, конечно, не стало бы меня на то, чтобы отдать полжизни некорыстному труду, коего конца я никогда не чаял увидеть...

И вот с какою целью, в каком духе составлен мой словарь: писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, *живого русского языка*. Много еще надо работать, чтобы раскрыть сокровища нашего родного слова, привести их в стройный порядок и поставить полный, хороший словарь; но без подносчиков палаты не строятся; надо приложить много рук, а работа черна, невидная, некорыстная...

С той поры, как составитель этого словаря себя помнит, его тревожила и смущала несообразность письменного языка нашего с устной речью простого русского человека, не сбитого с толку грамотейством, а стало быть, и с самим духом русского слова. Не рас судок, а какое-то темное чувство строптиво упиралось, отказываясь признать этот нестройный лепет, с отголоском чужбины, за русскую речь. Для меня сделалось задачей выводить на справку и поверку: как говорит книжник, и как выскажет в беседе ту же, доступную ему мысль человек умный, но простой, неученый, — и нечего и говорить о том, что перевес, по всем прилагаемым к сему делу мерилам, всегда оставался на стороне последнего. Не будучи в силах уклониться ни на волос от духа языка, он поневоле выражается ясно, прямо, коротко и изящно.

Жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты, когда они срывались с языка в простой беседе, где никто не чаял соглядаята и лазутчица, этот записывал их без всякой иной цели и намеренья, как для памяти, для изучения языка, потому что они ему нравились. Сколько раз случалось ему, среди жаркой беседы, выхватив записную книжку, записать в ней оборот речи или слово, которое у кого-нибудь сорвалось с языка, — а его никто и не слышал! Все спрашивали, никто не мог припомнить чем-либо замечательное слово — а слова этого не было ни в одном словаре, и оно было чисто русское! Прошло много лет, и записки эти выросли до такого объема, что, при бродячей жизни, стали угрожать требованием особой для себя подводы¹. Пришлось призадуматься над ними и решить, хлам ли это, с которым надо развязаться, свалив его в первую сорную яму, или хлам этот ряд-делу и с добрым притвором пойдет в квашню, и даст хлеба, и насытит?

Просмотрев запасы свои, собиратель убедился, что в громаде сору накопилось много хлебных крупиц, которые, по русскому поверью, бросать грешно.

Началась разборка в азбучном порядке², и, за отделением небольшого числа песен (переданных П. В. Киреевскому) и нескольких стоп сказок (отданных Г. Афанасьеву), выбралось на очистку десятка два кип в листе, относящихся до языка, пословиц, слов и оборотов речи. Что с ними делать? Обработать и издать в виде запасов или прибавления к словарям — работы много, а толку мало; выйдет ни то ни се, да и пригодно разве тому только, кто бы сам стал работать словарь; покинуть не обрабатывая — жаль, сердце не к тому лежит; передать кому-нибудь, кто бы смог и захотел заняться этим делом, — так нет в виду таких людей, да и половины кратких заметок моих никто без меня не поймет; хорошо бы приискать товарища, к которому, вместе с запасами своими, можно было бы примкнуть помощником, и работать вместе — но, сколько ни думал, и такого человека не знаю.

Один из бывших министров просвещения (князь Шихматов), по дошедшим до него слухам, предложил мне передать Академии запасы свои по принятой в то время расценке: по 15 коп. за каждое слово, пропущенное в словаре Академии, и по 7 1/2 коп. за дополнительные и поправку. Я предложил, взамен этой сделки, другую: отдаться совсем, и с запасами, и с сильными трудами своими, в полное распоряжение Академии, не требуя и даже не желая ничего, кроме необходимого содержания; но на это не согласились, а повторили первое предложение. Я отправил 1000 прибавочных слов и 1000 дополнений с надписью: *тысяча первая*. Меня спросили, много ли их еще в запасе? Я отвечал, что верно не знаю, но во всяком случае десятки тысяч. Покупка такого склада

¹ Искренне прошу извинения у писателей, всеми уважаемых, но заставивших меня указать на эти примеры. Примеры нужны, и они вдвое убедительнее, коли относятся до лиц известных; лично их, право, винить нельзя, все мы в одинаковом положении — так наша печь печет!

² Живо припоминаю пропажу моего вьючного верблюда еще в походе 1829 года, в военной суматохе, перехода за два до Адрианополя: товарищ мой горевал по любимому кларнету своему, доставшемся, как мы полагали, туркам, а я осиротел с утратою своих записок: о чемоданах с одежей мы мало заботились. Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения языка, и все это погибло. К счастью, казаки подхватили где-то верблюда, с кларнетом и с записками, и через неделю привели его в Адрианополь. Бывший при нем денщик мой пропал без вести.

³ Сделаю при сем пустую, но важную в приемах такого дела заметку: все подобные сборники должны писаться вчерне, в записках, на одной только странице, покидая другую пробелом; тогда можно в свое время расстричь их и подобрать в каком угодно порядке, нанизывая или приклеивая столбцами. Если об этом не подумать вовремя, то придется переписывать снова, по крайней мере целую половину запасов, что отымет много времени и может прибавить несколько ошибок и описок.

товара сомнительной доброты, по-видимому, не входила в расчет, и сделка оборвалась на первой тысяче.

Что же дальше делать? Очевидно, надеяться на Бога да на себя и самому приниматься за дело; я зашел слишком далеко и деваться некуда, бросать всех запасов этих нельзя.

Собиратель не пугался того, что на дело это едва ли станет всего остатка жизни его, предоставив раз навсегда заботу о жизни и смерти провидению; но он робел перед трудностью задачи, считая ее непосильною для себя, и потому счел нужным обсудить и взвесить наперед беспристрастно силы и средства свои, то есть познания и способности. Оказалось на поверку, что первых, для глубокого, ученого труда, было недостаточно, и именно недоставало общих познаний языковедения и основательного знания прочих славянских языков и наречий; недоставало даже и того, что у нас называют основательным знанием своего языка, то есть научного знания грамматики, с которою составитель словаря искони был в каком-то разладе, не умея применить ее к нашему языку и чуждаясь ее, не столько по рассудку, сколько по какому-то темному чувству опасения, чтобы она не сбила его с толку, не ошаржирила, не стеснила свободы понимания, не обузила бы взгляда. Недоверчивость эта основана была на том, что он всюду встречал в русской грамматике латинскую и немецкую, а русской не находил.

Вот чего, по обсуждению его самого, ему недоставало; а нашлось зато, во-первых, большой склад запасов, не вошедших доселе в наши словари; во-вторых, сильное сочувствие к живому русскому языку, как ходит он устно из конца в конец по всей нашей родине, и некоторое понимание его, близкое с ним знакомство, могущее, хотя в одном этом направлении, заменить ученость; нашлась наконец и любовь к нему, ручавшаяся за одоление труда, за стойкую, усидчивую работу над этим делом, по конец жизни. Кроме сего, разнородность занятий и службы: морской, военной, врачебной, гражданской, в различных частях низшего управления,— склонность к наукам естественным и ко всем ремесловым работам ознакомили его, по языку и по понятиям, с бытом разных сословий и состояний, наук и знаний.

Сведя итоги всех данных, собиратель приободрился. Всего одному не дано, да и не обнять, а дана всякому своя часть, свой талант, который он и обязан пускать в оборот, а не зарывать вместе с собою в землю. Кому много дано, с того много и взыщется. Найдутся более даровитые и ученые труженики, которым уже легче будет дополнить, чего недостает, найти одну часть дела готовую. Может быть, именно тот, кто успешно введет в русский словарь сравнения со всеми славянскими наречиями,

кто вставит и наш древний язык, и указания на начальные корни,— может быть, он-то именно и затруднился бы составлением той части, которая образует основу и сущность моего словаря; во всяком же случае, дополнять и исправлять полегче, чем составлять вновь. Передний заднему мост.

Итак, ограничась теми средствами и силами, какие нашлись, и положив живой, устный язык русский, а паче народный, в основу своего труда, собиратель решился приступить к делу.

Но, полагая народный язык в основу словаря,— потому что язык этот силен, свеж, богат, краток и ясен, тогда как письменный язык наш видимо пошлее, превращаясь в какую-то пресную размазю,— должно было наперед рассудить, как смотреть на все местные наречия или говоры, из которых язык народный слагается?

По нашему мнению, дело это просто и ясно: за исключением, на юге и западе, ближайшего соседства Малой и Белой Руси, у нас, на всю ширь Великой Руси, нет *наречий*, а есть разве одни только *говоры*. Говор отличается от языка и наречия одним только оттенком произношения, с сохранением нескольких слов старины и с прибавкою весьма немногих, образованных на месте, речений, всегда верных общему духу языка. У нас вовсе нет того, что другие народы зовут *жаргоном*, чему у нас и нет даже названия, то есть наречия искаженного, картавого, порождения племени, принявшего, по обстоятельствам, чужой язык и обработавшего его по-своему; у нас есть нечто подобное только у полуобрусевших инородцев, да и те, особенно чудские племена, удивительно быстро русеют и тогда вполне усваивают себе дух нашего языка. Наши местные говоры — законные дети русского языка и образованы правильнее, вернее и краше, чем наш письменный *жаргон*. В сем отношении мы поставлены в более счастливое положение, чем западные европейцы, но доселе, обойденные лешим пристрастия, подражанием и тщеславия, избалованные привозом всего готового из-за моря, мы небрегли своим, в чаянии, что и готовый, обработанный, развитый язык, без которого образованному обществу и жить и быть нельзя, подвезут нам оттуда же, заодно с винами и чепцами.

Напишите слово, называемое вами областным, как мы вообще пишем, не подделываясь под говор, а как оно, по образованию своему, должно писаться, и смело ставьте его на свое место, в общий великорусский словарь. Изъятий найдется немного и там только, где какая-либо чуждая, побочная стихия внесла искажения, чему примером могут служить губернии Псковская и отчасти Тверская; там попадутся переделки на польский или белорусский лад и слышна поныне *Литва*, как в Новороссийском крае всюду отзывается

наречие малорусское. Но и это ограничится только до нескольких слов, а оборотам русской речи можем поучиться во всякой местности Руси, во всякой деревушке, во всякой лачуге.

Предвидя, что слова эти будут перетолкованы, повторю для людей добронамеренных, что вовсе не утверждаю, будто вся народная речь, ни даже все слова речи этой должны быть внесены в образованный русский язык; я утверждаю только, что мы должны изучить простую и прямую русскую речь народа и усвоить ее себе, как все живое усваивает себе добрую пищу и претворяет ее в свою кровь и плоть.

Вот почему так называемые областные слова, нередко общие весьма различным и отдаленным друг от друга говорам и местностям, вошли в этот словарь, и притом, как замечено было кем-то с крайним изумлением, нередко рядом с самыми крутыми французскими словами, кои, в азбучном порядке, пришлись бок о бок с вятскими и рязанскими. Но не я вводил первые в печатный язык, и не моя воля изгнать их; а куда же я их дену, коли не на свое место, по азбуке?

Итак, этот вопрос не заставил делателя призадуматься: слова, речи и обороты всех концов Великой Руси, для изучения живого языка, должны войти в словарь, но не для безусловного включения их в письменную речь, а для изучения, для знания и обсуждения их, для изучения самого духа языка и усвоения его себе, для выработки из него постепенно своего, образованного языка. Читатель, а тем паче писатель, сами разберут, что и в каком случае можно принять и включить в образованный язык. Но нашлись другие заботы, другое раздумье, которое решить было не так легко и просто: какой вид придать словарю, как его обработать, в каком, из принятых для словарей, порядке?

Одноязычные словари доселе составлялись двояко: либо все, без изъятия, слова подбирались сподряд в азбучном порядке, и каждое слово объяснялось по себе, будто иных прочих и не бывало, либо слова подбирались целыми ватагами под один общий корень.

Первый способ крайне туп и сух. Самые близкие и средние речения, при законном изменении своем на второй и третьей букве, разносятся далеко врозь и томятся тут и там в одиночестве; всякая живая связь речи разорвана и утрачена; слово, в котором не менее жизни, как и в самом человеке, терпнет и коснеет; одни и те же толкования должны повторяться несколько раз; читать такой словарь нет сил, на десятом слове ум притупеет и голова вскружится, потому что ум наш требует во всем какой-нибудь разумной связи, постепенности и последовательности. Притом, на какую потребу идет такой словарь? Мертвый список слов не помощь

и не утеха; однопольный словарь пишется не для школьников и не для иноземцев, и потому разве изредка только русскому человеку могло бы случиться отыскивать встреченное где-либо, неизвестное ему, русское слово, и один этот, довольно редкий случай, не вознаграждал бы ни трудов составителя, ни даже самой покупки словаря.

Второй способ, корнесловный, очень труден на деле, потому что знание корней образует уже по себе целую науку и требует изучения всех сродных языков, не исключая и отживших, и при всем том основан на началах шатких и темных, где без натяжек и произвола не обойдешься; сверх сего порядок корнесловный, при отыскании слов, предполагает в писателе и в читателе не только равные познания, но и одинаковый взгляд и убеждения насчет отнесения слова к тому либо другому корню. В таком словаре не только *братъ, бранье, бирка и бирюлька* войдут в одну общую статью, но тут же будет и *беремя, и собирать, выбирать, перебор, разборчивый, отборный*, и одним словом, в каждую статью, под общей корень, войдет чуть ли не вся азбука. Это требует особого, объемистого указателя и заставляет отыскивать каждое слово по дважды, а потому и докучает, и утомляет. Корнесловный словарь может только повершить ряд словарей вполне обработанного розысками языка, как особый ученый труд, по заготовленным запасам; но, как противоположная азбучному словарю крайность, он для обихода также не удобен.

Обсудив все это и сделав несколько неудачных попыток в том и другом роде, составитель снова обратился к азбучному порядку, не видя иного исхода из этой раздорожицы. Ведь словари на всех языках составлены же этим порядком, стало быть, это находят удобным... беру опять такой словарь в руки, перелистываю его день и другой — но наконец, с тревожным чувством, откладываю его в сторону. Нет, такой словарь мне не рука. Как я его пушу в дело, как вызову из него и острою все сокровища, сокрытые в двух досках? Найти слово, которого у меня не хватает, я не могу; просмотреть сряду слова, самые близкие и сродные, чтобы освоиться с основным значением слов этого корня, отыскать под общим, родовым понятием нужные мне выражения, оглянуть закон и порядок словопроизводства, чтобы осмыслить речь свою, — не могу, все раскинуто врозь; одним словом, это не словарь, а то, что называют *вокабулами*, это список, сборник слов, для затвержения наизусть, поднизка слов без связи и смысла для крайне ограниченного употребления, и более для иностранца, чем для русского.

Но, взглядываясь в эти бесконечные столбцы слов, видишь наконец, что с небольшою перетасовкой и за исклю-

чением малого числа речений, примешавшихся со стороны и забившихся, по азбучному праву, промеж чужой им семьи, все остальные, целыми купами, показывают очевидную семейную связь и самое близкое родство; устранив понятие о корнях в том широком смысле, как ученые его понимают, никто, например, не усомнится, что *стоять, стойка и стояло* одного гнезда птенцы; да сверх того, у них и первые три начальные буквы одни и те же; а между тем они, по четвертой букве своей, разнесены врозь (Слов. Акад.) на семь печатных столбцов! Рассматривая эти родственные отношения ближе, мы находим, что такая связь представляет в нашем языке особый и общий закон, который дает нам неизменные правила образования слов звеньями, цепью, гроздами так же точно, как мы по общему правилу образуем от глагола причастия, а от них наречия.

В самой вещи, не вдаваясь ни в розыски о корнях, ни в уствования о том, какая часть речи родилась прежде, а какая после, мы видим в языке своем следующую, не подлежащую сомнению, связь и средство слов.

Глагол в одном, в двух или трех, а иногда и четырех видах, с причастиями своими (прилагательными), наречиями от них и существительными на *ость*; тот же глагол с окончанием на *ся*; тот же глагол, с заменой в конце буквы *и* буквою *ь*, четыре имени (иногда менее, изредка более), выражающие действие по глаголу, а два из них также самый предмет; от одного до пяти прилагательных, удерживающих все то же понятие глагола, но разнообразящих приложение окончаниями своими; наречия от сих прилагательных; существительные от них, означающие свойство, состояние по ним; еще имена, выражающие не действие, а предмет, как следствие действия, и самого деятеля, лицо; еще прилагательные, от этих имен, и, наконец, иногда, еще глагол с каким-либо особым оттенком от значения глагола начального, чем и повершается весь кругоборот слов одной семьи.

Здесь означены только главные члены целого поколения, а в иной семье попадает еще много промежуточных, как видно из любой статьи нашего словаря. Сюда относятся имена второго колена, на *ак, ец, ыш, рок, ынка, ынка*, также наречия (кроме произведенных от прилагательных) двух видов: своеобразные (*торчмя*) и творительным падежом (*торчком*) и пр.; и затем, наконец, слова сложные, составные. Замечательна легкая подвижность этих построений и жизненная связь их со смыслом. Где только дозволяет смысл, там от глагола может быть образовано требуемое слово, по неизменному правилу; где такое образование противно духу языка или самому смыслу, там язык наш упорно от сего отказывается, а будучи изнасилован, дает слова тяжелые, противные слуху и чувству, без всякой силы

и значения. Вот почему мы, заглушив в себе природное, бессознательное чутье к своему языку, лишаемся и силы и способности владеть им и впадаем в оскорбительные для духа языка, мертвящие ошибки. Слово *мертвящие* напомнило мне именно один из таких примеров. Думая не на своем языке и передавая мысли свои в переводе, мы невольно ищем слов, подходящих складом к речениям иноязычным; нам, например, понадобилось образовать из прилагательного *мертвый* имя, придав ему еще особый оттенок значения, не умершего, а окованного мертвящею силой, оцепенелого; по примеру: *спертость, черствость* надо бы сказать *мертвость*, но мы, на грех, на этот пример не напали, а взяли за образец: *бренность, откровенность* и пустили в ход словцо *мертвенность*. Неправильное образование этого слова дерет ухо, да сверх того, окончание *ость* почему-то противится требованию выразить состояние обмершего, а выражает истонченное состояние; вот почему и *мертвость*, образованное правильно, не совсем отвечает делу; для выражения этого понятия надо было бы взять слово иного образования и окончания и сказать: *мертвизна*, и оно бы высказало ясно то, что было на уме писателя. Не сделаются ли отношения эти яснее, не усвоим ли мы себе легче утраченный нами дух языка при том гнездовом или семейном порядке составления словаря, какой читатели видят ныне перед собою?

При расположении слов гнездами я обычно начинаю с глагола, но иногда имя взяло в гнезде своем такой перевес, что пушено вперед. Есть много случаев, где глагол устарел или даже вовсе утрачен, а производные слова полным чередом сохранились. Это, впрочем, все равно, закон языка таков, что одно вовсе не может быть без другого, и не только глагол или имя, но и все гнездо слов, так сказать, появляется зараз. Коли есть глаголы: *ходить, лежать*, то есть и *ход, хождение, и сидка, сиденье, и лежка, лежанье* и пр. Поставлю ли я наперед *основывать, основать* и уже затем: *основыванье, основанье, основ, основа*, или начну с *основ*, все после глагола должны следовать имена, выражающие действие его, а частью и предмет, и выпустить здесь одно из них, принятое за родоначальника семьи, неудобно, а оно должно бы повториться; затем следует и вся ватага прочих частей речи, как показано было выше. В одиночестве стоят только слова чужие или заходящие, если они не усвоены и не переделаны со всем потомством своим на русский лад, также иные наречия, предложные слова, да числительные имена и частицы. Из тех и других, впрочем, нередко также образуются глаголы, рождающие, по общему закону языка, целый ряд слов производных. Из *три* выходит *троить*, из гл. *троить*: *троение, тройной, тройка* и пр.; из *ах* или *ох* делается *ахать, охать*, а затем:

аханье, ахальный, ахала, ахальщик и пр. Эта семья или гнездо слов полнее у предложных глаголов, которые вообще выражают понятие точнее, определеннее, прикладнее, а потому и более слышны в речи.

Кажется, будущая грамматика наша должна будет пойти сим путем, то есть развить наперед законы этого словопроизводства, разумно обняв дух языка, а затем уже обратиться к рассмотрению каждой из частей речи. В деле этом такая жизненная связь, что брать для изучения и толковать отрывочно части стройного целого, не усвоив себе наперед общего взгляда, то же самое, что изучать строение тела и самую жизнь человека по раскинутым в пространстве волокнам растерзанных членов человеческого трупа. Как верно схвачена была К. С. Аксаковым, при рассмотрении им глаголов, эта жизненная, живая сила нашего языка! Глаголы наши никак не поддаются мертвящему духу такой грамматики, которая хочет силою подчинить их одним внешним признакам; они требуют признания в них силы самостоятельной, духовной и, покоряясь только ей, подчиняются разгаданным внешним признакам этой духовной силы, своего значения и смысла. Так и самый человек никак не покорялся вещественному взгляду ученых, отводивших ему место в животной природе по зубам и ногтям, а стал послушно на свое место, когда положили в основу бытия и различия его: разум, волю и бессмертную душу!

Итак, вот тот порядок, то устройство словаря, на которое составитель решился: собрать по семьям или гнездам все очевидно родственные слова, устранив, однако же, предложные и те производные, в которых изменяются начальные буквы; это попытка на способ средний, между *голословным* и *корнесловным* словарями. В азбучном порядке для отыскивающих известное слово есть указания, где его искать, и, кажется, с небольшим соображением и навыком это никого не затруднит.

Причастия и деепричастия пропущены в словаре, для сокращения объема, как известные по грамматике части глаголов; но в сущности *окруженный* и *округленный* конечно не ближе в родстве с глаголом своим, чем *округление* или *окружный*; и если прилагательное *округляемый* также подразумевается в глаголе *округлять*, то *округляемость*, как свойство, способность быть округляем, требует в словаре своего места. Увеличительные, умалительные и пр. показаны иногда в примерах, а красным словом тогда только, когда за ними есть особое значение или когда они обратились в самостоятельные слова, утратив производный смысл, как, например, *рука* и *ручка*, *клеть* и *клетка* и пр.

Многие глаголы пополнены видами и, кажется, приведены в более ясный, отчетливый порядок, а спутываемые до-

селе в словарях, по сходству в некоторых частях своих, отделены и объяснены, как, например, *выкатывать*, *выкатать белье*; *выкатывать*, *выкатить бочку*; *выкачивать*, *выкачать воду*; *выкачивать*, *выкачать зривку*, выкроить, вырезать; вообще глаголы *катать* и *качать*, *мешать* и *месить* и другие, особенно с предлогами, смешивались, и потому значение их объяснялось темно и запутанно. Показано также замечательное превращение глаголов, не изменяющих при сем ни одной буквы, а по одному только смыслу, из одного вида в другой, например: *Я сроду не выхаживал за город*: это грамматики зовут видом многократным; *я выхаживаю в неделю весь город*; *ыхаживаю*, *в рассыльных*, *по рублю в день*, это вид неокончательный или неопределенный.

Предложные глаголы нельзя было, по корнесловному порядку, присоединять к простым или коренным: это бы слишком затруднило отыскание их, да притом многие из них сами наплотили такое обильное потомство, что требуют отдельного места; но при каждом коренном глаголе показаны примеры сочетания его со всеми подходящими к нему предлогами.

При словах, где казалось полезным указать на происхождение или родство их, хотя такие родичи нередко, в силу азбучного порядка, разнесены друг от друга, указание это сделано в скобках, иногда в виде намека и одним словом, а нередко и с вопросительным знаком, как дело нерешенное. Но это не значит, чтобы такое слово признавалось корнем, ни даже ближайшим сродником объясняемого слова, а оба они сведены только рядом, в чаянии однородства их, и указанием этим два разрозненных гнезда связываются промежуточным звеном. При сем составитель словаря старательно избегал ошибочного производства (чему множество примеров у Рейфа) и боялся приговоров в таком темном деле. Ошибочная натяжка слов к чужому корню по одному созвучию много вредит изучению языка, лишая слово природной связи и жизни. Корнеслов Шимкевича вообще составлен гораздо основательнее Рейфа и с русским чувством, но у него почти голый список корней без показания относимых к нему слов, что нередко ставит читателя в недоумение; так, например, я не могу узнать, к какому корню относит он *бирка* и *бирюлька*: подходящего корня нет, а под *брат* показано одно только производное слово: *бремя*. Корня *бас* у него нет вовсе; куда же он относит *басый*, *баской*, *басит*, *басловка* и пр., — это неизвестно.

Указания на отечество чужих слов у меня вообще неполны и поверхностны; не пускаясь глубоко в корнесловие своего, а тем менее чужих языков, составитель указывает только на ближайший источник, на греческий, латинский, французский, немецкий язык,

откуда слово перешло к нам, хотя бы оно и было испанским, арабским, еврейским или санскритским. Если бы пускаться в такие розыски, то все почти французские слова должны бы называться латинскими, готскими, кельтическими, а более половины чисто русских слов пришлось бы отнести к санскритским. Я также в речениях науки или ремесла большею частью не начал, с какого языка взято слово; морские выражения голландские и английские, горные — немецкие, военные — немецкие и французские, врачебные — латинские и греческие и пр. Думаю, что это всякому известно и что подобные указания в таком словаре, как мой, не важны.

Грамматические указания в словаре вообще скудны, потому что оказываются то ничтожными и бесполезными, то сбивчивыми и даже ложными; язык наш нынешней грамматике не поддается. Приложение слова к делу, отношения его в построении речи, управление или зависимость всюду объяснены примерами, и в них должно искать объяснения всех подобных вопросов.

При объяснении и толковании слова вообще избегались сухие, бесплодные определения, порождения школярства, потеха зазнавшейся учености, не придающая делу никакого смысла, а, напротив, отрешающая от него высокопарною отвлеченностию. Передача и объяснение одного слова другим, а тем паче десятком других, конечно, вразумительнее всякого определения, а примеры еще более поясняют дело. Само собою, что перевод одного слова другим очень редко может быть вполне точен и верен; всегда есть оттенок значения, и объяснительное слово содержит либо более общее, либо более частное и тесное понятие; но это неизбежно, и отчасти исправляется большим числом тождесловов на выбор читателя. Каждое из объяснительных слов найдется опять на своем месте, и там, в свою очередь, объяснено подробнее. Набирая односложные эти, собиратель не призадумываясь включал туда же и так называемые областные выражения, которые большею частью могут войти в общий расхожий запас, как это объяснено было выше. Не мешает, впрочем, заметить, что зная язык свой в крайне ограниченном объеме, в пределах нынешней письменности, мы весьма часто считаем областными выражения, общие почти всей Русской земле, потому что мы их не знаем, и что они доселе были чужды письменному языку.

В числе примеров пословицы и поговорки, как коренные русские изречения, занимают первое место; их более 30 тысяч, и они напечатаны тою же искосяю, как и все примеры. Для простого словаря или словотолковника их местами нанизано слишком много; ради примера было бы достаточно двух или

трех, а десятки можно бы выкинуть. Но я смотрел на это дело иначе: при бедности примеров хорошей русской речи решено было включить в словарь *народного языка* все пословицы и поговорки, сколько их можно было добыть и собрать; кому они не лубы, тот легко может перескочить через них, так как они напечатаны косым набором, а иной, может быть, вникнув в этот дюжий склад речи, увидит, что тут есть чему поучиться. Примеров книжных у меня почти нет, не потому, чтобы я ими небрег; — нет, я признаю это за недостаток словаря, — а потому, что у меня не достало времени рыться за ними и отыскивать их; для этого также нужны не дни, а годы.

Друзья советовали было мне отмечать ходячие речения каким-нибудь знаком, для отличия их, по первому взгляду, от прочих, сочиненных примеров; но, не говоря о том, что дело было уже опоздано, что часть словаря вышла уже без таких отметок, они бы меня и весьма затруднили. Такой порядок или правило потребовало бы самого резкого разграничения не только пословиц, но и поговорок от обычных оборотов речи, которые между тем в живом языке незаметно взаимно сливаются, как и самые пословицы переходят в поговорки (см. *Напутное слово* к «Пословицам русского народа»); провести между ними грани нельзя, ниже означить каждую из тех и других особым знаком; так же точно и простые обороты речи, приводимые всюду в словаре в виде примеров, нельзя разграничить с поговорками, переходящими исподволь в один только простой, условный оборот речи.

Почти то же должно сказать об отметке особым знаком слов, вновь вносимых в словарь, не бывших до сего в обиходе. В красную строку, в число речений, напечатанных крупным набором, от строки, собиратель ставил только слова, читанные или слышанные им; да и по самому устройству словаря, где в голову каждого гнезда поставлен глагол или другое починное слово, нельзя было начинать статью словом сомнительным или неизвестным и к нему поднизывать слова обиходные. Но при толкованиях, а иногда и в числе производных слов могли попадаться и такие, которые доселе не писались, а может быть даже и не говорились. Я не могу провести такой строгой черты между словами, читанными или слышанными когда и где-нибудь, и между сложившимися под пером при истолковании других слов; это особенно трудно при словах производных, рождающихся по самому простому, общему закону, и при словах предложных, которых никто не перечтет и не составит списка бывшим и не бывшим доселе где-либо в ходу. Кто выкует какое-нибудь словечко — как это водилось у нас, — приваривая одно слово к другому, по греческому или

церковно-славянскому образцу, тот, конечно, сознательно может поставить при нем в скобках ученое *mīi*; но кто, не занимаясь таким сочинением, а принимая всякое имя или глагол за начало, объясняет при них и отродившиеся, по неизменному закону, отростки или одногнздки, тот этого не может. Он неминуемо иногда присвоил бы себе общее достояние или, наоборот, оставив слово, не бывшее в ходу, без отметки, был бы обвинен в подлоге. Вообще очевидно, что если письменный язык так мало развит и обработан, что на него ссылаться нет возможности, то нет и ручательства, кроме добросовестности словарника, который лишен возможности указать, откуда им взято слово, не бывшее до того в печати. Вот причины, по которым надо было отступить от таких указаний.

Желание собирателя было составить словарь, о котором бы можно было сказать: «Речения письменные, беседные, простонародные; общие, местные и областные; обиходные, научные, промысловые и ремесленные; иноязычные усвоенные и вновь захожие, с переводом; объяснение и описание предметов, толкование понятий общих и частных, подчиненных и сродных, равносильных и противоположных, с одно(тожде)словами и выражениями околными; с показанием различных значений, в смысле прямом и переносном или иноречиями; указания на словопроизводство; примеры с показанием основных оборотов речи, значения видов глаголов и управления падежами; пословицы, поговорки, присловья, загадки, скороговорки и пр.». Насколько сочинитель отстал от такой, вовсе непосильной, задачи, это самому ему известно ближе и короче, чем кому-либо иному; ему удалось только, в пределах рамки этой, собрать кой-что и пополнить собранное разными отрывочными сведениями. Подготовки для такого труда нашлось маловато, а жизнь коротка, досуга и не хватит. Работая не лентясь, насколько от дел насущных оставалось часу, этот собиратель сделал, что смог; а если бы еще хоть десять человек сделали столько же, то свод десятка таких словарей, конечно, дал бы в итоге не то, что один!

Может быть, словарю не следовало давать громкого названия «Толкового словаря», а приличнее, и во всяком случае скромнее, было бы назвать его: «Запасы для толкового словаря», но это показалось неудобным: во-первых, заглавие *опыт* и *запасы* слишком часто были придаваемы сочинениям именно из одного только приличия, а вовсе не по убеждению; посему оценщики наши изверились и судят с одинаковою зыскательностью и по одной мерке о книгах, названных опытом или запасом, и о тех, которые озаглавлены просто по содержанию, без такой скромной оговорки. Во-вторых, названия *опыт* и *запасы* не идут к сочинению цельному и полному,

не по содержанию, конечно, а по объему; если словари, какие были у нас доселе, назывались не запасами, а словарями, то как же общий свод их, с прибавкою десятков тысяч слов, с объяснениями и примерами гораздо более полными и подробными, не назвать словарем?

Второй вопрос: *толковый*. Стараясь принять значение каждого слова сперва в самом обширном смысле его, объяснять затем значения частные, потом понятия подчиненные, сродные, противоположные, сводить в одну статью, семью или гнездо речения одного начала или корня, поколику это согласуется с азбучным порядком; указывая местами на родство, связь и образование слов в самом обширном смысле этого взаимный смысл и толк человеческой речи, — составитель словаря полагал, что должен, хотя одним словом, намекнуть на эти особенности. Ведь заглавие должно же выражать, насколько можно, смысл и дух сочинения, а самое слово *толковый* в весьма недавнюю старину означало именно то, что здесь хотелось высказать. По-нынешнему, надо бы обойти слово это набором речей в две строки, что для заглавия не совсем удобно. Сверх сего полагаю, что самое расположение слов по гнездам, придающее целому более связи и смысла, дает и составителю право указать на особенность эту, и что *толковый* и в сем отношении прилично выражает дело. Мне было замечено, что-де, стало быть, все прочие словари бестолковы? В шутку это заметить можно, но на деле *толковому человеку, речи, книге* противоплагается *бестолковый, а толковому словарю — нетолковый*.

Вместо *русского* сказано *великорусского* языка: кажется, это будет точнее и правильнее; этим обозначена ширина объема: малорусское и белорусское наречия, не говоря уже о прочих славянских языках, а также церковный и наш же русский, обветшавший, исключены, по крайности, стали необязательны для словаря, а могли войти в него кой-где, по неразрывной связи своей с целым, для пояснений и толкований. Объем этот еще яснее означился словом *живого*, которое и указывает на желание захватить все то, что среди нынешнего великорусского народа можно услышать или прочитать.

Такой объем, очевидно, включает и выражения местные, областные и чужие, принятые из других языков; первые принадлежат народу, выросли на русском корне, много способствуют уразумению и обогащению языка и приложены на обсуждение и выбор читателя, в коем предполагается, как уже было сказано, не школьник и не немец, а любящий язык свой земляк. О словах же иноземных замечу, что если ныне и никакому словарнику не угоняться за прытками набирателями и усвоителями всех языков Запада, то по крайности в словаре сем, с намереньем, не были опускаемы чужесловы, по двум причи-

нам: во-первых, словарь не законник, не уставщик, а сборщик; он обязан собрать и дать все то, что есть, позволяя себе разве только указания на неправильность, уклонения и примеры для замены дурного лучшим; во-вторых, долг его перевести каждое из принятых слов на свой язык и выставить тут же все равносильные, отвечающие или близкие ему выражения русского языка, чтобы показать, есть ли у нас слово это, или его нет. От исключения из словаря чужих слов их в обиходе, конечно, не убудет; а помещение их, с удачным переводом, могло бы иногда пробудить чувство, вкус и любовь к чистоте языка.

Переводы эти многих соблазняют и вызывают на глумление; признаемся, что на это пенять нельзя: где только в применении малоизвестного слова видна натяжка, а тем более во вновь обнаруженном погрешность против духа языка, там оно глядит рожном. Мы не совсем еще отстали от ошибочных убеждений шишковских времен, что чужие выражения должны переводиться дословно и заключать в переводе именно все те понятия, какие находим в первых; обычай этот крайне затрудняет приискание равносильных чужим русским слов; убо, привычное к *эмансипации, цивилизации, гуманности*, не находит этих знакомых звуков ни в одном русском слове, и потому, как ни переводи их, всё многие будут отвечать: нет, это не то. Но стоит только, приняв, обусловить выражение, и оно будет именно то! Переводы буквальные, требующие сварки двух-трех слов, всегда почти бывают неудачны, потому что это противно духу нашего языка, и что способ этот дает слова неуклюжие, нередко еще более дикие, чем чужое слово, которое хотяг им заменить; но коли народ, не надрываясь умничаньем, без натуги, даст чему свою кличку, верно произведенную от одного, главного, понятия, то, воля ваша, одна только причуда и утрата вкуса и чувства к своему языку могут чуждаться таких слов. Весьма трудно установить в деле сем правую середину, не вдаваясь в крайности: одни пытаются вводить слова, не совсем удачно выбранные (ныне, впрочем, и это редкость), другие встречают их раз навсегда с предубеждением, весьма часто основанным на отчуждении от не книжного языка. Но ради сего нельзя же, махнув рукой, покинуть дело; казалось бы, сознавая весь вред и все зло от наводнения и искажения языка чужими речениями, всяк должен противиться этому по своим силам. Если предлагаемые слова не сыщут одобрения и приема у писателей, то, может быть, дадут повод к толкам и к отысканию других и лучших слов, и тогда цель наша, очевидно, будет достигнута. Замечу здесь однако же вторично по поводу намека, которым старались заподозрить добросовестность собирателя, что в переводах чужих слов могут попадаться в сло-

варе изредка вновь сочиненные слова, отдаваемые на общий суд, но в красной строке или в числе объясняемых слов *сочиненных мною слов нет*. Но даже и первые большею частью не сочинены вновь, а они есть, но им, может быть, доселе не было придаваемо именно этого частного значения, или они вообще читателю не были известны. Если я, например, предложил, вместо *автомат*, более понятное русскому слово *живуля*, то оно не выдуманно мною, хотя и не употреблялось в сем значении; оно есть, например, в загадке: «Сидит живая живулечка на живом стулечке, тербит живое мясо» (младенец сосет грудь).

После сего понятно, для чего выражения русские, при объяснении их, между прочим, толкуются также и наоборот более или менее принятыми чужезлонами: не для того, конечно, чтобы свое слово заменить чужим, а, напротив, чтобы указать или напомнить, каким русским словом может быть заменено иноземное, нередко читателю более знакомое, чем свое, родное. Первое найдется, впрочем, и на своем месте, где должно быть объяснено подробнее.

Надо также сказать несколько слов о правописи, принятой в словаре. Это дело у нас задача трудная; откуда пишешь сплеча (вот и спотычка: иной пишет с *плеча*, хотя наречию *сплеча* усвоено вовсе иное значение, чем речи с *плеча*; например, *сними мешок с плеча*), так сходит с рук на всякий лад, а как приходится отдать отчет себе и людям в каждой букве, да постановить общие и частные правила, то, несколько не желая быть ни новшником, ни отщепенцем, вынужден однако же решиться в сомнительных случаях на то либо на другое, по крайнему разумению, и, может быть, иногда невольно впадаешь в крайности. Вот главнейшие, принятые в словаре правила:

1. Писать как можно ближе к общепринятому произношению, насколько это позволяют прочие, не менее важные правила, а самый обычный.

2. Стараться сохранять, без натяжки, нарек на произношение, чтобы нагляднее осмыслить слово.

3. Не сдвигать букв, без прямой нужды, т. е. где говор этого не требует настоятельно, и потому писать: *вялений, соленость*; также *алопатия, грамматика, абат, корректура*: буквы *р*, с никогда не сдвигаются, как довольно твердые по себе, почему и пишу: *касир, и даже русский и Россия*. Но *непременный, благосклонный* и пр. требуют сдвоения буквы *н*.

4. В слитных предлогах *воз, из, раз*, буква *з* иногда переходит в *с*, как объяснено в словаре, см. *Воз*.

5. Букву *ль*, в коей был некогда смысл и значение, как и в *юсть*, а ныне отживающую век свой, нельзя выкинуть по привычке к ней, но можно ее исподволь выжимать. Пишут *лькарь* и *лекарь, льчить* и *лечить*, и я беру второе, хотя другие славянские языки и указывают,

что, по-старинному, *лькарь* и *льчить* правильнее. Если мы пишем *одежда* и *надежда* (и наоборот: *сдьла, звьзды* — сѣдла, звѣзды), то к чему писать *свьдьтние*, ссылаясь на церковное *вьдьтти*, когда в церковном же находим *рещи* и *речь* и, не ведомо к чему, пишем *рьчь, нарчьче*? Словом, где нет настойчивого требования на *ль*, там пишу *е*.

6. Предложные наречия, кажется, лучше соединять в одно слово: *насквозь подлад, наподхват* и пр. Это тем нужнее, что нередко ударенье переходит на предлог, и, чтобы показать это, надо бы связать его соединительной черточкой (ударенье на односложном слове без смысла), которой у нас не любят. Там, однако, где ударенье переходит на предлог, где указательная частица пришеивается, или где два слова соединяются и получают новое, особое значение, там лучше ставить эту черточку, как, например: *идти по-воду, за-реку, по-хорошему мил*; а также: *лошадь-та, ребята-те, мужик-эт*; или названья: *земляной-ладан, калмыцкий-чай, мышь-горох*.

7. В чужих словах мы не должны принимать правописания иноземного, а должны писать слово, как оно произносится русским, незнающим чужих языков; и если слово переиначено в говор на русский лад, то тем и лучше, тем легче оно может быть усвоено. Требования — знать и соблюдать в русском языке правописание испанское, итальянское, английское, немецкое, французское, турецкое — очевидно нелепо. Там и самые буквы произносятся иначе, и в таком виде слово не может войти в обиход.

При обработке словаря своего составитель его следовал такому порядку: идучи по самому полному из словарей наших, по академическому, он пополнял его своими запасами; эта же работа пополнялась еще словарями: Областным академическим, Бурнашева, Анненкова и другими, все это сводилось вместе, на очную ставку, иногда, по словопроизводству, делались справки у Рейфа и Шимкевича, и затем, собрав слова по гнездам, составитель пополнял и объяснял их по запискам своим и по крайнему своему разумению, ставя вопросительные знаки, где находил что-либо сомнительное.

В академическом словаре показано 114 749 слов; за исключением из этого причастий, имен умалительных, увеличительных, да слов вовсе неупотребительных и, по неуклюжому, нерусскому складу, вовсе непригодных, полагаю примерно в остатке 100 т. слов; из прочих словарей добавлено, как полагаю примерно же, поболее того, что было откинута, может быть, до 20 т.; сколько слов затем пополнено вновь из записок моих, я смогу сказать только по окончании всего труда, но знаю, что их будет

никак не менее 70-ти и до 80-ти т.⁷ Не воображайте, однако, чтобы прибавка эта состояла вся из слов коренных или неслыханных доселе областных выражений; напротив, девять десятых из них простые, обиходные слова, не попавшие только доселе в наши словари именно по простоте, по безвычурности и обиходности своей: словари набирались из книг, а книги пишут, взбираясь на ходули и подмости. Мы с неба звезды хватаем, а под ногами ничего не видим.

Независимо от пополненного, противу прочих словарей, числа слов, много прибавлено объяснений по различным их значениям. Казалось неудобным показывать число этих значений резким их разделением, цифрами, а потому они отделены одно от другого знаком (||), так что следующее за таким знаком толкование всегда относится к ближайшему красному слову.

Первое призывательное слово мое, по сему делу, должно быть обращено к словарям Академии: общему, на коем весь труд основан, и областным, коими запасы мои пополнены; затем я должен сказать искреннее спасибо и всем прочим русским словарям, служившим для справок и поверок.

Я обязан также благодарить всех, сообщавших мне в течение последних 25 лет, по разным вызовам и частным просьбам моим, сборники слов, заметки, объяснения и запасы; назвать я мог бы только немногих, упустив в свое время записывать, для памяти, что и от кого получено. Из сотни имен я теперь не мог бы вспомнить и десятка. Все подачки эти расстрижены на рубезки и разобраны по своим полосам, без всяких отметок. Надеюсь, что такое упущение с моей стороны никого не заставит пожалеть о сделанном добром деле.

Помощников в отделе словаря найти очень трудно и, правду сказать, этого нельзя и требовать: надо отдать безмездно целые годы жизни своей, работая не на себя, как батрак. Таких помощников или сотрудников у меня не было; мало того, по службе и жизни вдали от столиц даже почти не было людей, с которыми бы можно было отвести душу и посоветоваться в этом деле. В сем отношении нельзя не помянуть мне, однако, двух дружески ко мне расположенных людей, в которых я находил умное и дельное сочувствие к своему труду: А. Н. Дьяконова, уже покойника, бывшего инспектора корпуса в Оренбурге, и П. И. Мельникова, в Нижнем. Но когда я первый правочный лист словаря выслал Н. И. Гречу, чтобы он сообщил со мною порадовался началу успешного труда, то этот 75-летний делатель, несмотря на вражду мою с грамматикой,

настоял на высылке к нему по почте каждого правочного листа, возвращая его с поправками и заметками своими ко мне, в Москву; а когда я отговаривался, совестясь затруднять его таким нескончаемым трудом, то он отвечал: «Дайте мне умереть за этой работой!» Заметки этого заслуженного уставщика грамоты были мне крайне полезны, охраняв меня от многих промахов; и если они не все безусловно мною приняты, то это уже сделано сознательно или по необходимости, чтобы не нарушить целостности принятых однажды, право или неправо, оснований.

Оканчивая сим напутное слово свое, составитель обязан объявить, по какому случаю словарь его, вовсе неожиданно, поступил в печать.

По прибытии его в Москву, зимою на 1860-й год, Общество любителей российской словесности, почтившее его уже до сего званием члена своего, пожелало узнать ближе, в каком виде обрабатывается словарь и что именно уже сделано. Отчет в этом отдал он запискою, читанною в заседании Общества 25 февраля (за сим прилагаемой) и напечатанной в первой книжке «Русской беседы» за тот же год.

Горячо и настойчиво отозвалось на это все Общество под председательством покойного А. С. Хомякова, и тотчас же предложено было, не откладывая дела, найти средства для издания словаря.

Дело составителя было при сем заявить о всех затруднениях и неудобствах, какие он мог предвидеть, давно уже сам обсуждая это дело. Словарь доведен только еще до половины, и едва ли прежде десяти или восьми лет может быть окончен; собирателю под 60 лет; издание станет дорого, а между тем, вероятно, не окупится; кому нужен неоконченный словарь?

Но нашлось несколько сильных и горячих голосов — и первым из них был голос М. П. Погодина, — устранивших все возражения эти тем, что если видеть всюду одни помехи и препоны, то ничего сделать нельзя; их найдется еще много впереди, несмотря ни на какую предусмотрительность нашу; а печатать словарь надо, не дожидаясь конца его и притом не упуская времени. Самая печать неминуемо должна продолжаться несколько лет, а потому будет еще время подумать об остальном, лишь бы дело пушено было в ход.

Тогда поднялся еще один голос, А. И. Кошелева, с другим вопросом: чего станет издание готовой половины словаря? И по ответу, что без трех тысяч нельзя приступить к изданию, даже рассчитывая на некоторую помощь от выручки, деньги эти были, так сказать, положены на стол.

Оставалось заняться частностями дела и приступить к печати. Выбор, а затем, частью, и отливка шести раз-

ных наборов, и другие приуготовления печатни скрали почти полгода; правка такой книги, как словарь, тяжела и мешкотна, тем более для одной пары старых глаз; вот причины медленности выхода словаря; но, что зависит от составителя, то, конечно, одна только смерть или болезненное одряхление его могли бы остановить начатое.

Английским набором набраны слова в красную строку во главе гнезда или семьи своей; *косым жирным* — все прочие красные слова каждого гнезда, толкуемые, но поставленные в строку; боргесом — самое толкование слов, прямой перевод и значение красных слов; *косым боргесом* — все примеры, в том числе и пословицы, и поговорки и пр.; петитом — все объяснения грамматические, заметки о языке, о словопроизводстве, указания на чужие языки, на ремесла, науки, искусства, сословия, также пояснения пословиц и оборотов речи, если объяснения эти не относятся до толкуемого слова; заметки об обычаях, для уразумения примеров или самых толкований и пр. Частица *или*, напечатанная сплошным набором, боргесом, означает: все равно, одно и то же; или; петитом, в толковании значит: *либо*, т. е. разницу; однослова, в красной печати, местами отделены этой же частицей, в первом значении ее. *Петитом косой* показывает местность, где слово в ходу (а иногда только где оно записано, слышано, хотя из этого не следует, чтобы оно не было известно и в других местностях, как яснее видно из прилагаемого ниже обзора русских наречий и говоров), им же набраны примеры предложений глаголов при всяком простом глаголе, и, наконец, он встречается в прямом петите, для отлики, как вообще употребляется искомь.

Поперечный отдел (||) отделяет другое значение слова, за разделом сим объясняемое; звездочка (*) показывает иноречие, иносказательное, переносное, околное значение слова; вопросительный знак (?), если он не в порядке речи, — сомнение; он поставлен у всех слов, которых правильность или даже самая бытность, в том виде, как они написаны, сомнительны, или где толкование, объяснение рождало недоверчивость. Скобки, кроме своего обычного значения, включают целые слова и даже речи, либо слоги и буквы, добавочные либо заменительные, как это довольно ясно из смысла речи; так, например, в поговорке «Пословица не мимо (не даром) молвится» вставка означает, что вместо *не мимо* иногда говорят *не даром*; а в словах: га(о)лдитъ, взра(о)шать, втерпеть(ь) и пр. — что говорят и пишут так и сяк, что поставленное в скобки может заменить отвечающий ему слог или букву. Так как словарь мой предназначен для русских, то в этом деле, кажется, не может выйти недоумений.

Значенье ударений всякому известно; в немногих случаях они опущены по неадаптивности или по недосмотру,

⁷ На букву А дополнено 500 слов; на Б — 2000; на В — 4500; на Г — 1200; на Д — 3330; на Е — 200; на Ж — 370; на З — 7230; на И — 3440; на К — 4200; на Л — 1220; на М — 2300; на Н — 9280; прочие не сочтены.

а с намерением — там только, где ударение сомнительно или произвольно и по обычаю переносится туда и сюда. Два ударения на одном слове означают, что говорится двояко⁴.

Сокращения приняты обычные и понятные, более по грамматике: м. мужской род, ж. женский, ср. средний, об. общий; но общими же (об.) не по роду, а по смыслу, по значению своему, отмечены отглагольные имена короткого, русского (не славянского) окончания, как, например, *лом* и *ломка*, *выбор* и *выборка* и пр. Объясним это примером: от гл. *оговаривать*, *оговорить*, прямо выходят имена: *оговариванье*, *оговоренье*, *оговор* и *оговорка*; первое, по значению своему, можно назвать *длительным*, второе *окончательным*; а два последние *общими*, т. е. одинаково отвечающими тому и другому значению, что в словаре и показано при таких словах отметками: дл. ок. об. Далее: ч. число, ед. единственное, мн. множественное, собр. собирательное; мнжкр. однокр. многократное, однократное; прочие со-

крашения, как: ш. прл. гл. нар. прдл. со. прч. мест., и пр., означающие известные части речи, понять нетрудно.

Губернии также означены сокращенно: *ряз. мск. каз. тмб.* и пр., а иногда при них и уезд, отделенный не точкою, а черточкою, как: *кстр-кол. арх-инк.* и пр. В случае сомнения насчет уезда, любой старый календарь, в своей росписи городам, разрешит недоумение. Нередко местность слова, общая целому краю, означена только странною света, считая от Москвы: *св.*, северное наречие или новгородское, в своем общем, обширном смысле; *юж.*, южное, рязанское, к которому относится и речь всех соседних губерний; *вост.*, восточное или владимирское, общее всему краю этому, не исключая и Сибири; *зап.* западное, смоленское, от Белой Руси, идущей полосой по лясским пределам, до столкновения с Малою Русью. Здесь названия: *северное*, *восточное* и *западное* сполна отвечают делу, но *южное* не столь определительно, и даже иногда сбивчиво, относясь не

к рязанскому наречию, а к малорусскому, которое отзывается в Курске, Воронеже, Орле и пр.

Слова церковные и старинные отмечены: *стар.*, *церк.*; а указания на другие языки: *греч. лат. фр. англ. нем. белорус. малорус. татар.* и пр.; тем же набором сделаны, в сокращении, указания на науки, ремесла: *физ. хим. матм. воен. морс., фабрич. горн. кузн. столяр.* и пр. Не менее понятны сокращенные отметки: пес. сказ. шутч. бран. и пр.

Кончая напутное слово свое этими сухими и скучными объяснениями, составитель словаря еще раз благодарит от души всех любителей слова, доставивших ему запасы или заметки, и усердно просит всякого сообщать ему и впредь, на пользу дела, пополнения к словарю, замечания и поправки, насколько что кому доступно.

В. И. Даль. Июня, 1862

О РУССКОМ СЛОВАРЕ

Читано в Обществе любителей российской словесности, в частном его заседании 25 февраля и в публичном 6 марта 1860 года

Господа, в последнее заседание вы потребовали от меня, по живому сочувствию к делу, отчета в труде моем, в словаре, над которым я век свой работаю. Исполняю ваше желанье.

Словарю дано название: *Словарь живого великорусского языка*; в него должна бы войти вся живая речь нынешнего великорусского поколения; Малая и Белая Русь исключены: это особые наречия. Некоторые слова из них, перейдя на деле в смежные великорусские области, вошли, однако, и в словарь.

Восе устарелые реченья исключены, если только особые уважения не заставили об них упомянуть; но много старинных слов и поныне живут в народе, хотя их мало знают, и они приняты и в словарь.

Церковный язык наш исключен; но приняты все выражения его, вошедшие в состав живого языка, также обычные названья предметов веры и церкви. И славянских слов встречаем мы несколько в речи народной, особенно с малорусского, а затем и на самом севере и северо-востоке.

При тщательном сборе народных речений не вносились, однако, в словарь умничаньем искаженные и столь удачно прозванные *галантерейными* выражения полукупчиков, сидельцев, разночинцев и лакеев, как, например, *патрет*, *киатер*, *полухмахтер* и пр.

Главное внимание обращалось на язык простонародный. В языке нашем нет таких говоров, каковы областные наречия Западной Европы, где искаженное на особый лад произношение, взпуски с местными, нигде более не слышанными выражениями, вовсе затемняют коренной язык. Речь наша всюду одинакова; уклонения от нее так ничтожны, что многими и не замечаются. Главная отлика — это *высокий* и *низкий* говор, наклонность к гласной *а* или *о*: первая свойственна югу и западу от Москвы; вторая — северу и востоку. Строй и склад речи, грамматика одинакова всюду; и потому, скажу ли я: «с Масквѣ, с пасáда, с авашнóва рѣда», как окальщики дразнят подмосковцев, или: «бóлого в Володимере, стокáн испить — голова болит», как рязанцы приговаривают соперникам своим в плотничестве, или даже: «ён хóдить, гуляить, бáтьку паминáить», как дразнят самих рязанцев, а еще более курян, — мы и то, и другое, и третье понимаем одинаково, и без запинки пере-

кладываем на свою, среднюю по произношению гласных, речь, не переводя слов, а только смягчая в говоре резкие крайности. Но в малорусском: «нехай и чорт, абы не москаль», и в белорусском: «яна́ мѣсiць, у сцiяну́ лепiць» — слышится уже нечто вовсе чужое. В Малороссии и грамматика своя, отчасти славянская; в Белоруссии она также уклоняется от нашей и отчасти даже сближается с польскою.

Вот почему народные слова наши прямо могут переноситься в письменный язык, никогда не оскорбляя его грубою противу самого себя ошибкою, а, напротив, всегда направляя его в природную свою колею, из которой он у нас соскочил, как паровоз с рельсов; они оскорбят разве только изрешевшее ухо чопорного слушателя. Что делать, надо вывести на себе негодование его; миновать нельзя. Язык наш, для потребностей образованного круга, еще не сложился; неоткуда взять тех *салонных* — ныне уже не говорят *гостинных* — выражений, которых от

⁴ Северный и восточный великорусские говоры всегда почти держатся одного ударения (на первые и средние слоги), а южный и западный другого (на средний и последний); Москва более держится второго, а Питер нередко своего третьего, немецкого. Так, слово *робить* не только на Украине, но и на всем юге от Москвы произносится *робѣть*; а на севере, где оно в большом ходу, — *робить*. Сюда же относятся: *ворóта* и *воротá*, *далéко* и *далекó*, *высокó* и *высокó* и пр. В говоре новгородском встречается местами довольно странный, по некоторым признакам старинный, перенос ударения на первый слог, противоположно польскому и наперекор общепринятому, как, например, *твóрог*, *нибóдно*, *бкрестáсь* и пр.

нас требуют: есть только, обрусевший по виду между пишущей братией, латино-французско-немецко-английский язык, да свой природный, топорный, напоминающий ломовую работу, квас и ржануху. Надо прислушаться к нему, изболдовать и обуловить его, не ломая, не искажая, тогда он будет хорош.

Мы до того шатко знаем язык свой, что, вздумав порусить, пишем — как читал я еще на днях — *позорище* вместо *поприще*, *причалить* вместо *пристать*, *обыденный* вместо *обиходный*, *обознать* вместо *опознать* и пр. Таких примеров отыщутся не сотни, а тысячи.

Мы жалуемся, что слова наши долги и жестки; частью, может быть; но тем путем, каким мы ныне идем, мы этого не поправим. С другой стороны, уж не сваливаем ли мы с большой головы на здоровую? Где эти семипяденные слова, с толкотнею четырех согласных сподряд, в народе? Народ не говорит: *предохранительная* оспа, а говорит: *охранная*; не говорит: *драгоценные* камни, а *дорогие*; не говорит: *по восприимчивости* обстоятельству, а говорит: *стала*сь помха, *помеха*. Уж не сами ли мы сочиняем хоть бы, например, слова, как *собственность*, вытеснив им слово *собь*, и *собственный*, заменив им слово *свой*? Не сами ли мы ломаем над собственным сочинением этим собственный свой язык и кадкы? В *собственном* доме — да почему же не в *своем*? Или разносный с почты не найдет меня в *своем* доме?

В академическом словаре до 115 т. слов; на каком языке вы найдете их столько же? Откиньте 15 т., по разным причинам лишних или неуместных, да прикиньте несколько десятков тысяч — не могу сказать сколько — ныне собранных, — не говорю о десятках же тысяч, никем еще неподслушанных, — ужели вам этого запаса мало? Если недостает отвлеченных и научных выражений, то это не вина народного языка, а вина делателей его: таких выражений нигде в народе не бывало, а они всегда и всюду образовались, по мере надобности, из насущных; потрудитесь, поневольтесь, прибирайте, переносите значение слов из прямого понятия в отвлеченное, и вы на бедность запасов не пожалуетесь. Притом, повторяю, мы утверждаем наобум, и сами не знаем, что у нас есть, а чего нет.

Приведу несколько примеров.

Я не думаю изгонять слов: *антипод*, *горизонт*, *атмосфера*, *эклиптика* и им подобных, хотя они и довольно чужды нашему говору; но не утверждайте, чтобы их не было в русском языке. *Горизонт* — *кругозор* и *небосклон* — бредут, но они сочинены писемным, и потому в них слышится натяжка. *Небоскат* и *небозем* получше, но и это слова составные, на греческий лад. Русский человек этого не любит, и неправда, чтобы язык наш был сроден к таким сваркам: он выносит много, хотя и кричит,

но это ему противно. Русский берет одно, главное понятие, и из него выливает целиком слово, короткое и ясное. Обратимся же туда, где у русского человека перед глазами простор, море, а не одна только потная полоса пашни или елка, березка да болото, — какого вы тут захотели горизонта? Но на Каспийском море, говорят: *завесь* и *закрой*, а на Белом: *озёр* и *овидь*. Воля ваша, а я не пойму, чем *завесь*, *закрой*, *озёр* и *овидь* хуже горизонта. На малом море, где то и дело берега в виду и снова закрываются (завешиваются черни), сложились слова: *завесь*, *закрой*; на большом, безбрежном, — слова: *озёр* и *овидь*. Письменному нужно было, по-европейски, спутать два слова, чтобы составить *кругозор*; неграмотный сделал то же, из одного: *овидь*, *озор*, тот же кругозор.

Резонанса, говорят, передать нельзя, и слово это даже должно произноситься с пригнукою, тогда оно становится более понятным. Но народ, у которого не было французского гувернера, говорит: *отбой*, *голк*, *нагольсок*, и понимает друга хорошо. *Нагольсок* скрипки, рояли; *нагольсок* залы, палаты — чем не резонанс? *Адресовать* к кому, по-русски: *насылать*; *адрес* — *насыл* или *насылка*: пиши по *наслу* или по *насылке* такой-то. Не нравно? Ну так пишете *адрес* и *резонанс*, но, как *гуманиты* и *либералы*, дайте всякому свой простор и свободу, не невольте же и вы других!

Если бы у нас не было слова *кокетничать*, *кокетка*, то я бы по ним не тужил, как не тужу и о том, что у нас нет *аману* и *пардону*; но первое есть, и в избытке. Выбирайте любое слово, смотря по оттенкам, из десятка: *заискивать*, *угодничать*, *любезничать*, *прельщать*; *умильничать*, *жеманничать*, *миловозреть*, *миловидничать*; *рисоваться*, *красоваться*, *хорошиться*, *казотиться*, *ничужить*; сверх всего этого говорят: *нравить* кого, желать нравиться. Кокетку зовут: *прелестница*, *жеманница*, *миловидница*, *миловидка*, *красовитка*, *хорошуха* и *казотка*. Возьмем и отвлеченное понятие, например: *индивидуальность* — *самость*; *эгоизм* — *самотность*, *самотство*, *самовицина*.

Хотите или нет *атмосферу* называть *мироклицею* и *колеземцею*, это ваша воля; но *инстинкт*, по нерусскому звуку и двойному набору трех непроезжих вкупе русскою гортанью согласных, должен бы замениться *побудком*, как говорят на севере, или *побудкою*, по восточному говору. *Инстинкт* можно выговорить только западным произношением букв *н*, *к*, *т*, то есть кончиком языка, а наше, полное, гортанное произношение такого слова не принимает. Есть ли смысл в этом, навязывать земле, целому народу слова, которых он, не наломав смолоду языка на чужой лад, никак выговорить не может? *Гуманно* и *либерально* ли это? Чем *свечник* хуже *кандебра*? чем *истинник* не капитал, *противень* не антипод, *сласто-*

ежка, *сластник*, *сластёна*, *солощавый* не гурман? Почему бы *портьера* не *полость*, *полстина*, *запон*, *завёс* или *завес*, или не *дверницы*? Чем *этаж* лучше *яруса*, *жиля*, *связи*? Для чего мы переводим *карликовая берега*, что называется *сланкою*, *сланцем*, *ёрником*? Почему *фиолетовый* лучше *синеалого*, *оранжевый* — *жаркóва*? Чем *диагональ* лучше *дóлони*? *Долонь* — это прямая, связывающая два угла *на́кось*. Почему *эклиптика* не *солнопутье*? Для чего *эхо*, несклоняемое и потому нам несродное, вытеснило не только *отклик* и *отголóсок*, но даже *отгул* и *голк*? Шум или гул — это *го́лка*, а отклик го́лки — *голк*. Для чего все ученые лесничие наши пишут *штамб*, а инженеры — *дамба*, искажая немецкие слова, будто стыдясь писать: *зать*, *плотина*, *гребля*, *запруда*, *займ*, изгнав также необходимые родные слова: *голень* *дерева*, *лесина*, *го́лмья* и *го́лмёнь*? *Голмёнь* именно немецкое *штам*, цельный пень, лесина дерева, на сколько его идет, за очисткою, в бревно. Для чего ученые наши говорят: *ложные солнца*, когда это *на́солнца*, которые бываю, смотря по виду: *столбы*, *коромысла*, *уши* и проч. Для чего врачи сочинили скорогворку: *грудобрюшная преграда* (курул турка трубку, клевала курка крупку!), когда ее зовут *подвздошною блоною*, *гусаквою*, либо *утробною*, *перепонкою*, или *гусачихой*, *гусачиной*, от гусака, ливера, лежащего на ней и под нею?

Серьёзный нельзя перевести. Одним словом, отвечающим всем значениям, нельзя, как нельзя прибрать, для перевода *recherch*, русского слова, которое бы означало и рыбака, и грешника. Но разве это недостаток языка? Напротив, там скудость заставляет придавать одному слову десять значений. Укажите мне пример, где бы, вместо *серьёзный*, нельзя было сказать: *чинный*, *степенный*, *дельный*, *деловой*, *внимательный*, *озабоченный*, *занятый*, *думный*, *думчивый*, *важный*, *величавый*, *строгий*, *настойчивый*, *решительный*, *резкий*, *сухой*, *суровый*, *пасмурный*, *сумрачный*, *угрюмый*, *насуистый*, *неушотный*; *неуштя*, *поделу*, *взабыль*, и прочее, и проч. Можно бы насчитать и еще с десяток слов; если же вы найдете, что все они не годятся, то я волен буду думать, что вы связаны с нерусскими словами одною только силою привычки и потому неохотно с ними расстаетесь. А на привычку есть отвычка, на обык перебык. Наконец, скажу вам еще тайну: думайте, мыслите по-русски, когда пишете, и вы не полезете во французский словарь: достанет и своего; а доколе вы будете мыслить, во время письма, на языке той книги, которую вы последние читали, доколе вам не достанет никаких русских слов, и ни одно не выскажет того, что вы сказать хотите. Переварите то, что вы читали, претворите пишу эту в особь свою, тогда только вы станете писать по-русски.

Испещрение речи иноземными словами (не говорю о складе, оборотах ре-

чи, хотя это не менее важно: теперь мы беседем о *словаре*) вошло у нас в поголовный обычай, а многие даже шеголяют этим, почитая русское слово, до времени, каким-то неизбжежным худом, каким-то затоптаным половиком, рогожей, которую надо усыпать цветами иной почвы, чтобы порядочно человеку можно было по ней пройтись.

Не стану поминать о *субъективности* и *объективности*, но ведь дошло до того, что у нас печатают *газон* и *кадавер*; а *муравá*, *дерн*, *злáчник* и *покойник*, *мертвое тело*, *мертвец*, *труп* и прочее, видно, уж не годятся. Таким образом, всему пишущему, а только читающему населению России скоро придется покинуть свой родной язык вовсе и выучиться, заместо того, пяти другим языкам: читая доморощенное, надо мысленно переключать все слова на западные буквы, чтобы только добраться до смысла: ведь это цифирное письмо [шифр]!

Но и этого мало; мы, наконец, так чистоплотны, что хотим изгнать из слов этих всякий русский звук и сохранить их всецело в том виде, в каком они произносятся нерусскою гортанью. Такое чванство невыносимо: такого насилия не попустит над собою ни один язык, ни один народ, кроме — кроме народа, состоящего под умственным или нравственным гнетом своих же немногих земляков, переродившихся заново на чужой почве.

Если один онемечился, изучая замечательных писателей, каких он у себя дома не найдет; если другой, по той же причине, офранцузился, третий обангличился, и так далее, то могут ли все они требовать, поучая, наставляя и потешая нас, чтобы каждый из нас, вычитывая, что в них переварилось, понимал все те языки, какие они изучили сами, и чтобы мы перекладывали, мысленно, беседу их на пять языков? Коли так, то не лучше ли уж нам взяться прямо за подлинник, который, по общему закону, не должен же быть ниже подражания!

Если чужое слово принимается в другой язык, то, по крайней мере, позвольте переиначить его на столько, на сколько этого требует дух того языка: он господин слову, а не слово ему! И разве чистяки наши не видят, что они, при всей натуре своей, все-таки картавят, и что природный француз и англичанин вышербленного у него слова в русской печати никак не узнают!

Ведь и римляне всегда приурочивали и латынили усвоенное ими чужое слово, без чего не могли ни выговорить, ни написать его; то же делают и поныне все прочие народы; что же это мы, охотно обезьяничающая и эпугайничая, в этом случае хотим самодуром установить для себя противное правило? Этому две причины: первая — тщеславие, чванство: мы знаем все языки; другая — невежество: мы не знаем своего.

Для чего, например, сдвигать согласные: *аллотатия*, *баллотировать*, *ас-*

сessor, *аббат*, *аппарат*, или даже *грамматика*, *аттестат*, — когда это противно нашему языку и, при хорошем произношении, не может быть слышно? Если вы хотите показать, что знаете правописание на тех языках, с которых слова эти взяты, то пишете же, как иные и в самой вещи писывали: *Тээр* (*Theer*) и *маасштаб*; но тогда уважьте же и татарина, и пишете не *лошадь*, а *áлаша*, не *армяк*, а *эрмек*; да и не говорите более: *чай*, — съездите наперед в Кяхту и прислушайтесь, как китаец произносит слово это? Да так, что оно в русском ухе звучит *чай*, в голландском *тэ*, в английском *ти*, и т. д. Да притом и самая буква *т* произносится каждым по-своему, и никакими знаками нельзя передать этого выговора!

Но составитель словаря не укащик языку, а слугитель, раб его; здесь можно сказать о всяком писателе: напишешь пером, не вырубивши топором. Сколько можно было собрать этих чужих речений мимоходом, посвящая весь досуг свой сбору и обработке русских слов, столько внесено в словарь, и с умыслу не упущено ни одного. Одна часть слов этих более или менее приурочилась у нас, и собиратель не вправе высылать их по своему произволу; дело писателей покидать их и дать им выйти из обыка; другая часть, все еще нам чуждая, включена для того, чтобы противопоставить русские, отвечающие им выражения. При этом изредка и по необходимости, *только* при переводе чужих слов, случалось мне и самому прилагивать и применять русские слова, не знаю, насколько удачно, а думаю, что не в противность языку, а в духе его. Но в последнее время стали запросто переносить в язык наш все слова Западной Европы, перепечатывая их, без обиняков, русскими буквами; за этим не угоняешься: собрать все это недостало у меня ни сил, ни времени.

Мне случалось слышать от людей, впрочем умных и уважительных, что все это пустяки, недостойные придирки; что язык вырабатывается в господствующем духе, по степени просвещения и образования народа, а частные усилия тут ничего не могут сделать; что, впрочем, и все равно, какими словами ни объясняться; слова, по себе, условное сочетание звуков, один вещественный припас — лишь бы в том, что пишешь, был ум, сердце, душа и жизнь. На первое возражение отвечаю, что нельзя, однако, не пожалеть о таком направлении, если даже оно и господствует; во второе, что это убеждение ошибочное и вредное, как всякая ложь или ошибка: оно растлевает ум и сердце. Колы скоро мы начинаем ловить себя врасплох на том, что мыслим не на своем а на чужом языке, то мы уже поплатились за языки дорого: если мы не пишем, а только переводим, мы, конечно, никакого подлинника произвести не в силах и начинаем духовно пошлеть. Отстав от одного берега и не пристав

к другому, мы и остаемся межеумками. С языком шутить нельзя: словесная речь человека — это видимая, осязательная связь, звено между душою и телом, духом и плотью. Вероятно, в маломумном и юродивом та же душа: ума много, да вон не идет; отчего? Оттого, что вещественные снаряды ему служат превратно: дух пригнетен, под спудом, а без орудий и средств этих он ничего не в силах сделать.

Все словари наши преисполнены самых грубых ошибок, нередко основанных на недомолвках, описках, опечатках, и в этом виде они плодятся и множатся. Если какой-нибудь почтенный немец, ученый путник, напишет: *ардйж* (артыш), *топол*, *осокоп*, *пыщалка*, *сорокопрыхтка*, *пригрид* (прикрыт, трава), то все это пошло на все четыре стороны, и наши ученые начинают писать так же. Если даже кто, опечаткою, скажет: *лир*, *попутник*, *омёрник*, вместо *аир*, *лапуник* и *омёжник*, то и это вносится русскими травоведами в словари и преподается с кафедры!

В Областной словарь Академии вошло все, без разбора, что только присылали, по *должности*, уездные учителя, и с теми же безобразными объяснениями. Слова офенские, то есть *деланье*, как: *корюка*, девка; *къяр*, пиво и проч., десятками вставлены, наряду с русскими; объяснения вообще криво понятия, либо односторонние, иногда переносные, а прямого нет; одно и то же слово повторено под буквами *а* и *о*, по высокому и низкому говору; даже в новом прибавлении к этому словарю находим: *абальр*, *абану́каться*, *абáнал*, *абля́ска* и множество подобных, тогда как все слова эти составлены с предлогом *об*, который, уж на письме по крайности, никак не может обратиться в *аб*, если только не захотим вовсе утратить всякий толк и смысл в словах. Посему я в словаре своем, не занимаясь *корнями* слов, старался однако же указывать везде на взаимную связь, а где это, по искажении и по другим причинам, казалось сомнительным, там я ставил вопросительный знак.

И нечеткое письмо собирателей вводило в соблазн издателей, которые не подчиняли запасов этих никакому рассудительному разбору и оценке. Таким образом появилось в словаре множество *красных* слов вовсе небывалых, хотя они и напечатаны крупным, заглавным набором и стоят по азбуке в порядке и на своем месте, почему об опечатке тут не может быть и речи; например:

Ирпéнь, вместо иргéнь — баран.

Калчáн, вм. калгáн — чашка.

Колычáн, вм. колыгáн — то же.

Нагóвка, вм. ночéвка — нóчвы.

Камбóжка, вм. калбóжка — лужа.

Копани и кáпани, в двух местах, в м. кáтанки — валенки.
 Каспóрка, в м. распóрка.
 Кет, в м. кеж, кежіна — пестрель.
 Козат, в м. козан — бабка.
 Галицы, в м. голицы — рукавицы.
 Коледúха, в м. голедúха — гололедь.
 Кудэзиться, в м. кудеситься —
 наряжаться.
 Кузик, в м. гузик — пуговка.
 Кухол, в м. кухоль — кувшин.
 Атóжко, в м. атóжина — а как же.
 Дрянка, в м. одрянка, одрец —
 сноповозка.
 Ерпесить, в м. ербезить — егозить.
 Жічика, в м. жичина —
 жидкий пруд.
 Воробче, в м. воробы, воробье.
 Покáче, в м. поначе — получше,
 и много других.

Повелительное *истей*, переименованное в *изопей*, выставлено как особое слово; выражение: *толщиною в завить руки* подало повод к тому, что *взавить* поставлено особою речью, на свое место, и переведено: *толщиною*, просто, даже не толщиною в руку. Там же вы найдете: *сúпретка*, *астрагáны*, *тамалка* и сотни других слов, лишенных всякого смысла и связи с языком; как догадаться, что это: *сúпрядки* — посиделки, от глагола *прядь*; *острогáны* — остроганный волною песок; *отымáлка* — тряпица, ветوشка, для съема с пылу шаного горшка и проч. Все это покажется очень просто; но чего стоило добраться тут толку и доискаться самого источника бессмыслицы?

На все это обращалось, по крайнему разумению, строгое внимание, и где нельзя было доискаться смысла, ни явных улик в ошибке, там ставился вопросительный знак.

Какой вид или образ придать словарию, как его расположить? Как можно сподручнее. Именной и голый список всех слов, по азбучному порядку, крайне растянут и утомителен, требует многих повторений при толковании самых близких, однородных слов и разносит их далеко врознь. Расположение по корням — и опасно, и недоступно; тут без натяжек и произвола не обойдешься, а отыскание слов очень затруднительно.

Я избрал путь средний: все одногнздки поставлены в кучу, и одно слово легко объясняется другим. Одногнздками называю я глагол с производными: существительными, прилагательными, наречиями и другими частями речи. Но предлогные слова того же гнезда отнесены на свое место и там нередко образуют опять свои гнезда и кучки.

Ходить, *хаживать*, *хожденье*, *ход*, *ходьба*, *хода*, *ходебщик*, *ходун*, *ходовик*, *ходкий*, *ходовой* и прочее стоят как бы в одной общей статье, в которой размещены по удобству; но *захаживать*, *заход*, *захожий*, равно *находить*, *находка*,

находчивый и пр. поставлены особыми кучками, на свое место. Впрочем, при каждом простом глаголе приводятся примеры всех образуемых из него предложных глаголов. Такой порядок проведен у меня не строго, в нем нет полной научной последовательности, этого я не достиг; однако же словарь, в этом виде, как мне кажется, принимает образ более доступный; его можно дать, если не читать, то перелистывать, и наглядность связи и образования слов много выигрывает. Остаются затем немалое число одиночек, и взгляд на них также поучителен: это либо слова зачужие, чужие; либо свои, но переименованные издавна так, что в свое место, по азбучке, не подходят; либо это пни, не давшие от себя живых отростков; либо наречия и прилагательные, употребляемые с предлогами, тогда как отвечающий им глагол предлога этого не принимает.

Словарь составляется для русских, почему я почти не делаю отметок о том, насколько слово в ходу, не опошлело ли оно, в каком слое общества живет и проч. В этом пусть всяк судит и рядит по своему вкусу; при шаткости неустановившегося языка нашей тут строгой черты или грани провести нельзя.

Грамматические определения, на которые я было в начале, по обязанности, покусился, вывели меня вскоре из всякого терпенья и, наконец, заставили откинуть их почти вовсе. Нет той бессмыслицы, до которой бы не дошел, волей-неволей следя нашей несчастной грамматике, особенно когда речь пойдет о глаголах.

Гл. действительный, конечно, можно бы отличить от прочих залогов, но, во-первых, не понимаю, за что такое отличие одному падежу, когда всякому глаголу присвоено их несколько? И различные глаголы: *меня тошило*, *тебя вырвало*, правят винит. падежом, как даже и некоторые общие глаголы на *ся*: *я тебя не боюсь*; *он тебя хватился*; *не спохватясь ума делаешь*; *держатся*, *дожидаться*, *допроситься*, *дознаться*, *дозваться*, *докликаться*, *докричаться*, *доискаться*, *дощупаться*; также: *меня гадит*, *тошит*; *он отвергся меня* и множество других. Во-вторых, надо ж было сделать, для нашего языка, и ту еще уступку, что действ. гл. иногда заменяет винит. пад. родительным. В-третьих, кличка эта ни к чему не ведет: сущность дела — указать, какими падежами и при каком случае глагол правит. В-четвертых, большая часть средних глаголов легко обращается в действительные, лишь бы смысл это допускал: *ходить воду*, выхаживать, качать в колесе; *ходить журавля*, плясать; *глядеть кого*, высматривать, стеречь; *смотреть корректуру*; *плакать плач*; взялся *управлять* судном, да и *управил его* на мель; собака *стоит стойку*, *я сижу вино*, и проч. и проч. Что же касается глаголов на *ся*, то все они, по началу своему, возвратные, а принимают значение: взаимных, средних, общих, страдатель-

ных и даже действительных, не только по прямому значению своему, но и по разуму и обороту речи.

Таким образом, не только каждый глагол на *ся* может быть отнесен к двум и трем залогам, но иной даже и ко всем пяти: *биться лбом об стену*, возвратный; *биться на саблях*, *биться об заклад*, взаимный; *биться как рыба об лед*, средний; *сердце бьется* или *живчик бьется*, средний или общий; *рыба бьется острогой*, *посуда бьется*, страдательный. Самый гл. *бить*, по-видимому, бесспорно действительный, легко обратить в средний: *бить в ладоши*, *бить наверняка*, *он бьет на авось*, *бить в барабан*, *бить по столу кулаком* и проч.

Мудрено ли после этого, если мы находим в академич. словаре, в этом отношении, безграничную путаницу. Там, например, названы действительными глаголы: *алодировать* кому, *благоевествовать* к обедне, *бросать* камнем в кого, *намекать* кому о чем, *напомянуть* о чем, *напылить* где чем, *наставать* на чем, *наседать* на что; даже: стакан *надтреснул*, ко мне *нашло* много гостей, *я недослышу*, туг на ухо, он ему *норовит* и проч. — все это гл. действительные! *Нашуметь*, *накричать*, *набалагурить* названы средними, а *насказать*, *наговорить*, *набормотать* — действительными; *узомониться* — возвратным, а *уходиться* — общим; *беситься*, *божиться*, *нагнаиваться*, *нашататься* и проч., по словарю, возвратные, — прислушайтесь: *божиться* — гл. возвратный! *наедаться* — возвратный же, а *напиваться* — общий... Если это не острога, не намек на общую слабость, то что же это такое? Ведь тут речь не о погрешностях и опечатках, в таком виде тянется словарь от аза до ижицы; я бы мог привести не десятки, но сотни, а тысячи примеров. Очевидно, что это не опечатки, не описки, даже не ошибки, по незнанию или недосмотру, а это путаница по недоумению, как быть с нашей грамматикой, которая сбита с толку целое учено братство, чем принятые правила и доказали несостоятельность свою.

Грамматики, вроде «Общесравнительной», с ученым запросом, ничего не сделали для нашего языка; грамматика Востокова, а тем более Греча сделали все, что на этом пути ум и дарованье могут сделать, — и это огромная заслуга: они дошли донельзя и раскрыли всю наготу, всю несостоятельность положенных в основание начал; они прошли этот тяжкий путь до конца, стали лицом к тупику, который дотолке объезжали на криках, и указали нам, что тут выхода нет.

Да, К. С. Аксаков прав: вся грамматика глаголов наших прищеплена к языку насильственно, и потому не стоит выеденного яйца. Лесина срезана, надколота, чужой сучок воткнут, не заботясь о том, однородны ли деревья, а потому в него и не пошло ни капли соку: он торчит торчком и, несмотря на вековой уход, не приживается.